На самом крайнем островке залива
старик жил, непохожий на других.
Навряд когда-либо нанес обиду,
иль зло кому-нибудь он причинил;
но иногда — перед морскою бурей —
зловеще взор его сверкал, и им
овладевал как будто дух безумья;
в ту пору к Терье Вигену без страха
немногие решались подойти.

Мне только раз его случилось видеть, —
у пристани он с рыбою стоял;
седой старик так молод был душою,
смеялся, пел, с детишками шутил,
поддразнивал молоденьких рыбачек;
окончив торг, зюдвесткой он взмахнул
и, бойко в лодку прыгнув, поднял парус
и полетел, им как крылом сверкая,
в сияньи солнечном, — седой орел!

Теперь его историю поведать
хочу я вам с начала до конца.
В ней многое резнет ваш слух, пожалуй,
но — что она правдива — поручусь;
ее хоть не из уст его я слышал,
так от ближайших из его друзей,
от окружавших старика в час смерти,
глаза ему закрывших. — Умер Терье
без малого семидесяти лет.

С ним в детстве сладу не было, и рано
покинул он свой дом, отца и мать;
намыкался по свету младшим юнгой,

в Голландию попал и, наконец,
соскучившись по родине, вернулся
туда на шкуне капитана Прам.
Но тут никто уже в матросе бравом
не мог признать бедового мальчишку,
сбежавшего из дому так давно.

Да, стал он видным и красивым парнем,
к тому же щеголем, но сиротой:
отец и мать его сошли в могилу,
перемерла и прочая родня.
Но с головой поникшею недолго
бродил он; два-три дня, и — все прошло.
На суше не жилось ему, однако,
его манила вольная стихия,
и он умчался снова по волнам.

Еще год минул, и женился Терье;
случилось это как-то невзначай,
и сам он после каялся, как видно,
жалел о том, что дал себя связать.
Недолго он и выдержал, — лишь зиму,
и то кутил все, дома не сидел;
а домик был так мил, всегда блестели
прозрачные окошки, красовались
на них и занавески и цветы.

Едва от льдов очистились заливы,
ушел наш Терье море бороздить.
По осени гусей, летевших к югу,
он встретил на пути своем домой,
и словно камень пал ему на сердце:
он был здоров, и молод, и силен,
но позади остался южный берег,
весь солнцем залитой, и свет широкий,

а впереди ждала зима, тоска!

Пристало судно к берегу, матросы
ватагой шумною пошли кутить,
а Терье провожал их долгим взглядом
с порога дома своего. Потом
он вздумал заглянуть в свое окошко,
в просвет меж занавесками; глядит:
жена за прялкою своей у печки,
а в колыбельке перед ней девчурка
румяная, веселая лежит.

И говорят, что Терье с той минуты
переродился словно, стал другим;
работал день денской, и все ж хватало
досуга у него качать дочурку.
В воскресный вечер, слыша взвизги скрипки
со двора соседа, где шел буйный пляс,
он песни лучшие свои пел дома,
подкидывая на коленях Анну,
а та играла кудрями отца.

Но в восемьсот девятом наступила
година злой войны; и до сих пор
рассказы ходят о нужде жестокой,
в какую впал тогда у нас народ.
Британская эскадра обложила
все выходы и входы, а в стране
как на беду неурожай случился,
и голодали все — богач и бедный;
всех караулили болезнь и смерть.

Повесил было голову и Терье,
но ненадолго; вспомнил он, что друг
есть у него старинный, верный — море;
оно не даст им с голоду пропасть!
И до сих пор живет в устах народа
тот подвиг, на который он пошел:

дав шторму стихнуть, Терье Виген ночью
пустился в море на рыбачьей лодке,
чтоб дочь с женой от голода спасти.

Нарочно лодку выбрал он поменьше
для плаванья опасного; не взял
ни парусов, ни мачты, только весла,
хоть предстоял ему не близкий путь
до мыса Скагена, — так незаметней
удастся проскользнуть, он полагал.
Ютландский риф грозил ему бедою,
но вдвое больше он беды боялся,
какой грозил британский «Man of war».

И вот, отдавшись воле счастья, Терье
на весла приналег что было сил;
до Фладстранда достиг благополучно
и там запасся грузом дорогим.
Невелика была его добыча —
три тонны ржи всего. Но Терье был
не избалован; дома голодали,
и заключалось для него в том грузе
спасенье дорогих ему существ.

Три дня и ночи веслами работал
неутомимый, храбрый человек;
с зарей четвертою на горизонте
в тумане он полоску увидал;
не облака летучие то были,
но ряд зубчатых, островерхих скал;

а над хребтами всеми возвышалась
крутая Именэса седловина.
Теперь вздохнуть свободней Терье мог.

Близехонько до мест родимых было;
еще немножко силы понапрячь!..

И сердце переполнилось от счастья,
готов был он Творца благодарить. —
Как вдруг — застыла на устах молитва,
и помертвевший взгляд впился в туман,
редевший с каждою минутой... Горе!
Он не ошибся: в Гэснеском проливе
корвет британский берега стерег.

Сигнальный выстрел прозвучал с корвета,
но ветер утренний чуть дул, повисли
беспомощно на реях паруса,
и Терье к западу решил спасаться.
Но шлюпку тотчас же спустил корвет,
и началась погоня. Как приросший
к скамье греб Терье с силою такою,
что кровь из-под ногтей его текла.

Идут к востоку от залива Гомборг
«слепые шхеры», — Гэслинг их зовут;
воды над ними только на два фута,
и там при ветре с моря, как в котле,
кипят, бурлят и пеной брызжут волны,
и даже в штиль гуляют буруны,
тогда как за чертою шхер и в бурю
почти всегда спокойно дышит море, —
о рифы разбивается волна.

К тем рифам Терье и направил лодку;
стрелой она летела в бурунах,
но по следам ее неслась и шлюпка;
сидело в ней пятнадцать человек.
И Терье Виген в час беды смертельной
сквозь шум прибоя к Господу воззвал:
«Вон там, на берегу, мой дом, Ты знаешь,
и на пороге ждут меня с тоскою
жена и дочь, отца и хлеба ждут!»

Но громче, знать, кричали те пятнадцать;
и, как при Люнгере, так было здесь:
сопутствовало счастье англичанам,
разбойничавшим средь норвежских шхер;
когда о мель толкнулась лодка Терье,
и шлюпка заскрипела по песку.
«Остановись!» послышалась команда,
и офицер, подняв весло, в борт лодки
ударил лопастью что было сил.

Не выдержала утлая лодчонка,
в пробоину, шумя, влилась вода,
и затонул груз Терье драгоценный.
Но мужество свое он сохранил, —
одним прыжком за бортом очутился
и от врагов уйти пытался вплавь.
Он плыл, нырял, опять всплывал, но шлюпка
снялась с мели, и за собою всюду
он слышал сабель лязг и ружей треск.

Его поймали, отвезли на судно;
поздравил выстрелом себя корвет;
юнец по девятнадцатому году,
начальник судна, на корме стоял,
гордясь своею первою победой.

А Терье гордость всю свою забыл, —
перед надменным бриттом на колени,
как дуб могучий срубленный, он рухнул,
с рыданьем о пощаде стал молить.

Он слезы лил, — ему платили смехом,
глумленьем отвечали на мольбу. —
С востока ветер потянул, и в море
корабль британский выйти поспешил.
Замолк, в себя ушел норвежский пленник
и даже англичан тем поразил,

как быстро справиться сумел с собою, —
ни дать ни взять он грозовую тучу
с чела высокого смахнул рукой.

В плену у англичан томился Терье
пять долгих, долгих лет. Согнулся стан,
и голова покрылась сединою
от дум о родине. Но вместе с тем
его поддерживало, видно, нечто,
что он, как клад, носил в душе своей.
Год восемьсот четырнадцатый мирный
норвежским пленникам вернул свободу;
бриг шведский Терье свез домой.

Но был теперь он не простым матросом. —
король ему дал лоцманский патент;
и в седовласом лоцмане признали
немногие былого молодца.
В другие руки перешел дом Терье,
и вот что он узнал там о своих:
«Отец пропал, кому ж кормить их было?
В могиле общей кладбища для бедных
похоронил приход и мать и дочь».

Шли годы, и прошла далеко слава
о лоцмане на крайнем островке.
Навряд когда-либо нанес обиду
иль зло кому-нибудь он причинил;
но иногда — когда вскипало море —
зловеще взор его сверкал, и им
овладевал как будто дух безумья;
в ту пору к Терье Вигену без страха
немногие решались подойти.

Раз ночью лунною, при ветре с моря,
тревога поднялась средь лоцманов:
с оборванными парусами яхту

британскую на берега несло,
и красный флаг, сигнал красноречивый,
без слов о скорой помощи молил.
От крайнего из островков немедля
отчалил бот; на веслах против ветра
с трудом до яхты лоцман добрался.

Уверенно на палубу вступил он,
рукой богатыря взялся за руль,
и яхта, дрогнув, в море повернула;
за нею на канате поплыл бот.
Сам лорд и леди с крошкою в объятьях
поторопились на корму прийти,
и лорд сказал, приподнимая шляпу:
«Спаси нас, я тебя озолочу!»
Но лоцман руль вдруг выпустил из рук.

Как мел, он побелел, но в то же время
усмешкой дрогнули уста его.

Вмиг яхту к берегу погнало снова,
и скоро ткнулась носом в мель она.
«Руля не слушается! В лодки живо!
Милорд, миледи, прыгайте в мой бот.
Он разобьется в бурунах, я знаю,
но там за ними отмель, берег близко;
за мной в кильватере пройдете все!»

Светилось море; между бурунами
стрелой бот несся с грузом дорогим,
а на корме стоял высокий лоцман.
Горел огнем зловещим взор его,
перебегая с Гэслинга на Гэснес.
Но вот и крайний риф... Внезапно руль
и шкоты бросил лоцман седовласый;
потом схватил весло он и в борт лодки
ударил лопастью что было сил.

Шумя и пенясь набегали волны,
на боте суматоха поднялась;
вся помертвев, свою малютку леди
приподняла высоко на руках:
«Мое дитя! Моя бедняжка Анна!»
Тут лоцман дрогнул сам, за руль схватился,
и парус быстро повернул по ветру;
бот через риф перелетел, как птица,
и разом очутился на мели.

Все стали погружаться вместе с лодкой,
но до колен всего дошла вода;
тянулась тут береговая отмель,
и не было волненья и следа.
Вдруг лорд воскликнул: «Отмель ненадежна;
песок зыбучий... всех нас засосет!»
«Спокойны будьте, — усмехнулся лоцман, —
стоите вы на затонувшей лодке,
три тонны ржи здесь пущены ко дну».

Тут по лицу у лорда пробежала
как будто молния, — припомнил он
матроса, на коленях со слезами
стоявшего когда-то перед ним.
А Терье крикнул: «Ты мое все счастье
держал в руках и выбросил за борт!
Еще минута — и свершится мщенье!»
Черед пришел тут гордому британцу
перед норвежцем на колени пасть.

А Терье выпрямил свой стан, как прежде,
в дни юности, и подперся веслом;
огнем решимости глаза горели,
седые кудри ветер развевал.
«Ты гордо плыл на корабле военном,
а я — на лодке утлой рыбака;

из сил я выбивался, чтобы хлеба
голодным привезти, — ты хлеб тот вырвал
из рук моих, глумился надо мной.

«С весенним днем твоя поспорить леди;
как шелк нежна, мягка ее рука;
рука моей жены была в мозолях,
но ведь она моей, моей была!
Твое дитя на ангела похоже
лазурью глаз и золотом кудрей;
моя же дочь была худа, невзрачна,
как дети всех, кто борется с нуждой,
но как она была мне дорога!

«В них двух мое богатство заключалось,
все то, что на земле я звал своим;
в моих глазах оно бесценным было,
но ничего не стоило в твоих.
Теперь настал возмездья час желанный,
пришлось тебе минуты пережить,
которые, наверно, стоят долгих,
состаривших меня годов, все счастье
мое похоронивших навсегда». —

И, выхватив у матери малютку,
другой рукой он стан ее обвил:
«Назад, милорд! Один лишь шаг, и сгубишь
обеих ты — жену свою и дочь!»
Готов был лорд схватить за горло Терье,
но тут рука повисла словно плеть;
он тяжело дышал, лицо пылало,
в глазах смертельный страх с мольбой смешался,
и к утру, говорят, он поседел.

А Терье лоб высокий был так ясен,
спокойно, ровно подымалась грудь;
поцеловал он пухлую ручонку
и леди отдал бережно дитя;
потом, вздохнувши глубоко, как будто
на волю вышел из оков, сказал:
«Теперь самим собой опять стал Терье,
душою так давно окаменевший;
мне нужно, нужно было отомстить!

«Те годы долгие в плену успели
из сердца высосать всю кровь; лежал
у края бездны я сухой былинкой,
которую вот-вот туда снесет.
Теперь прошло все. Мы с тобой сквитались;
должник твой выплатил свой долг сполна.
Я отдал все, — ты у меня все отнял;
обижен ты, так призывай к ответу
Творца, создавшего меня таким». —

Настало утро; спасены все были;
пришла и яхта в гавань; и хотя
участники ночных событий были
не из болтливых, — далеко прошла
о Терье слава. В нем самом с той ночи
как бы рассеялся душевный мрак,
и выпрямился стан его, согбенный
с тех пор, как он на палубе корвета
с глухим рыданьем на колени пал.

Проститься с ним пришли и лорд и леди;
их провожала целая толпа;
и там, в жилище лоцмана убогом,
за избавление благодаря,
пожали оба крепко Терье руку.
А он, погладив ласково дитя,
сказал: «Нет, если уж пошло на правду,
то вот кто — эта милая малютка
в тот страшный час от смерти всех спасла!»

И, к Геснесу сворачивая, яхта
на мачте подняла норвежский флаг,
а проплывая мимо рифов Геслинг,
салютом пушечным почтила их.
И Терье, яхте вслед глядевший с мыса,
смахнув с ресниц слезу, проговорил:
«Я многого лишился, но и много
дано мне; к лучшему Господь устроил,
как видно, все; Его благодарю!»

Я после этого и видел Терье, —
у пристани он с рыбою стоял;
седой старик так молод был душою,
смеялся, пел, с детишками шутил,
поддразнивал молоденьких рыбачек;
окончив торг, зюйдвесткой он взмахнул
и, бойко в лодку прыгнув, поднял парус
и полетел, им как крылом сверкая,
в сияньи солнечном, — седой орел!

У Фьерской церкви видел я могилу,
открытую ветрам со всех сторон;
ограды не было, осела насыпь,
но черная доска цела была,
на ней белело имя: «Терье Виген»,
и был проставлен погребенья год.
Открыта зною и ветрам, могила
вся заросла травой колючей, жесткой,
но кое-где цвели в ней и цветы.